

Х

Тюрьма Сент-Пелажи

Вчера вечером, перед моим отправлением в Сент-Пелажи, мы с товарищами немножко кутнули.

После того как прихлопнули «Улицу», я написал еще две статьи в других газетах. Эти две «проповеди» стоили мне тюрьмы.

Я вошел в нее слегка навеселе!

Там решили, что я болен, и направили ко мне фельдшера.

Я обозлился. Бунтарю – прибегать к помощи медикаментов!..

– Но, сударь, – заметил этот Диафуарус[57], – тут все пичкаются лекарствами. В настоящее время «павильон принцев»[58] находится в моем распоряжении.

Фельдшер – большой шутник. Он сообщил мне много интересных подробностей.

– Политические заключенные делятся на два лагеря: на тех, что ходят , и тех, что не ходят ... вы меня понимаете? Восемьдесят девятый год – еще кое-как, девяносто третий никуда не годится, тысяча восемьсот тридцатый[59] – ни то ни се. Есть здесь бывший ученик Пьера Леру...[60] впрочем, нет, больше я вам ничего не скажу...

А он правильно подметил, этот фельдшер попал в самую точку.

Действительно, 93-й никуда не годится.

Каждое утро мимо меня проходит человек, держа, точно священную чашу, белую, чем-то прикрытую урну. Можно подумать, что он идет служить обедню; но он приотворяет потайную дверь, которая тут же плотно за ним закрывается.

Выходит он оттуда так стремительно, что я совершенно теряюсь и едва успеваю кинуть под салфетку беглый взгляд, чтобы рассмотреть сосуд. Но я не обнаруживаю патриархального брюшка – обычной округлости...

В конце концов мне все-таки удалось приподнять завесу.

Таинственная урна есть не что иное, как сосуд интимного назначения, заgrimированный, чтобы вводить всех в заблуждение, – горшок, принявший вид амфоры. Но он выдает себя... зеленой гуттаперчевой кишкой, убивающей мои последние сомнения. К тому же человек раскрылся передо мной, все показал мне, все рассказал.

– Я ставлю себе одну раз в день вот уже тридцать лет и чувствую себя, как видите, прекрасно.

– Все это так. Но почему вы не поручаете служителю выносить сосуд?

Он выпрямился и гневно уставился на меня.

– Гражданин, в той Республике, которую я хочу, каждый убирает за собой сам. Существуют неприятные работы, как существуют неприятные обязанности.

– Но ведь это же чаша недисциплинированного, кропильница дворянина, – вы поступаете предательски!

– Нет! Я – централизатор по существу и индивидуалист по форме. Пусть у каждого будет патронташ, а уж круглый или овальный – это по выбору.

– А процедура с этой трубкой будет обязательна?

– Не смейтесь, молодой человек, я – ветеран! Вы – новичок и недостаточно еще зрелы, чтобы иметь право взвешивать мои действия.

– Да я и не собираюсь их взвешивать!

Новичок? Недостаточно зрел?.. Недостаточно зрел для такого кальяна, – это верно; и не помешался еще на клистирных трубках, старичок!

Не хочет ли он, чтобы я тоже обзавелся подобным прибором и пользовался им каждое утро по команде, согласно приказу Комитета общественного спасения: «Канониры, к орудиям!»

– Я чист... – повторяет он постоянно.

Еще бы он не был чист после стольких промываний...

– Я твердо стою на своих принципах.

Раз-то в день ему, во всяком случае, приходится присаживаться.

– Наши отцы, эти гиганты...

Что касается моего отца, то он был среднего, скорее даже маленького роста, а деда моего прозвали в деревне Коротышкой. Мои предки не были гигантами.

– Бессмертный Конвент...

– Кучка католиков навыворот!

– Не кощунствуйте!

– А почему бы и нет? Разве я не имею права бросить свой шар, когда ваши боги играют в кегли? Я думал, что вы отстаиваете свободу мыслить, говорить и даже кощунствовать, если бы мне это вздумалось. Быть может, вы прожжете мне язык каленым железом или подвергнете пытке водою, вливая ее в рот вашим орудием... если я не попрошу пощады? Ну нет, этого вы не дождетесь!

Пейра[61] отвечает горькой улыбкой и нахлобучивает на уши шерстяной шлем, вроде тех, что надевают при восхождении на Монблан, – это он-то, уроженец Авентинского холма![62] Ибо он действительно оттуда. Он – настоящий Гракх, этот человек с сосудом, клистирной трубкой и в шапочке с завязками.

Ученику Пьера Леру приходится расплачиваться за своего учителя.

О нем ходит целая легенда.

В каком-то уголке Франции Кантагрель[63] состоял в обществе «Circulus»[64]. Каждому члену вменялось в обязанность во что бы то ни стало поставлять для общего блага свою долю удобрения. Человеколюбие погубило его: он хотел проявить свое усердие, принял какое-то снадобье, и его так пронесло, что ему пришлось возвращаться в Париж, чтобы постараться приостановить действие лекарства.

– Если б хоть кто-нибудь воспользовался этим! – меланхолически замечает он иногда.

Говорят, он написал Гюго по поводу главы о Камбронне[65] в «Отверженных». Гюго ответил ему:

«Брат, есть два идеала: идеал духовный и идеал материальный; стремление души ввысь, падение экскрементов в бездну; нежное щебетанье – вверху, урчание кишок – внизу; и там и здесь – величие. Ваша плодовитость подобна моей. Довольно... поднимитесь, брат!»

– Это я подписался за Гюго и подстроил эту шутку, – признался мне один товарищ по заключению.

Чудаки они все-таки!

Этот сиркюлютен осужден за издание крамольной газетки, как я и предполагал.

Другой – главный редактор республиканской газеты, единственной, которая могла появиться на свет, получить право на жизнь и снискать милость императора. И не то, чтобы издатель ее был льстивым придворным или допустил какую-нибудь подлость, – напротив, он тверд и непреклонен. Но на манер якобинцев; а Наполеон III отлично понимает, что Робеспьер – старший брат Бонапарта и что тот, кто защищает республику во имя власти, является Грибуйлем[66] империи.

К счастью, я могу уединиться.

Я нахожусь в «Пти-Томбо».

Это – узкая мрачная камера в верхнем этаже тюрьмы. Зато, взобравшись на стол, я могу дотянуться до окна, откуда видны верхушки деревьев и широкая полоса голубого неба.

Целыми часами стою я, прижавшись головой к решетке, вдыхаю свежесть ветра и подставляю лоб под солнечные лучи, приходящиеся на мою долю.

Одиночество не пугает меня. Часто я даже гоню от себя и восемьдесят девятый и девяносто третий, чтобы просто остаться наедине с самим собою и прислушаться к своим мыслям, то забившимся где-нибудь здесь, в уголке камеры, то свободно реющим за железной решеткой.

Заключение совсем не рабство для меня, а свобода.

В этой атмосфере уединения и покоя я всецело принадлежу себе.

Клуб

Но этот покой был внезапно нарушен: в тюрьме освободились места, и меня перевели в новую, лучшую камеру; она была переполнена народом, и я ничего не имел против этого. Мое помещение стало салоном, столовой, фехтовальной залой и клубом тюрьмы.

Чего только не вытворяли там!

Первым по части шума и гама был бесподобный папаша Ланглуа[67], бывший соратник Прудона.

– Черт побери!

– Ах, это вы?.. Какая сегодня погода?

– Погода?

Он стучит по столу, по стульям, свирепо вращает глазами и раздраженно отбрасывает ногой утренние туфли, валяющиеся у кровати.

– Какая погода?.. Отличная!

Это сказано яростным, угрожающим тоном. Его рука словно ищет саблю; он сморкается с таким шумом, как будто разрывается снаряд, а когда он уходит, судорожно сжимая в руках старые газеты, – у него такой вид, точно он спешит с донесением к генералу; иногда он тут же врывается обратно с искаженным лицом.

– В чем дело?

– Там кто-то есть!

Достаточно ему пробыть десять минут, чтобы кавардак стал невообразимым.

Все влезают на стулья, сам он взбирается на ночной столик.

Какие-то невероятные жесты, истерические крики.

Все мы – черт знает что...

Как?.. Я, Вентра, колеблюсь повесить управляющего государственным банком?

– Разве речь идет о том, чтобы его повесить?

– Ну да! А вы только кривляетесь, черт возьми!

Он хочет сегодня же воздвигнуть виселицу для держателя звонкой монеты, который живет только своим бумажником, каналья!

Он изображает казнь. Берет носовой платок, подвешивается на нем на несколько мгновений, в самый напряженный момент издает какой-то звук, рискуя проглотить язык, затем спрыгивает со стола и... снова набрасывается на туфли с бешенством щенка, у которого режутся зубы.

– Да этот человек рехнулся, – говорит Курбе, покуривающий в углу. – Он рассуждает о Прудоне? Я один хорошо знал его. Только мы двое и были готовы в сорок восьмом году. Эй, чего вы там кричите так, черт бы вас побрал!

– Я не кричу, я спокойнее вас, тысяча чертей!

Смешны и несносны эти горластые визитеры, эти заключенные, из которых одни ходят, а другие не ходят, – все эти люди, как-никак получившие образование, все эти воспитанные буржуа.

Иногда рабочий, по имени Толен[68], стыдит их за глупость и дает отпор их мелочным вспышкам. Он серьезнее и осведомленнее их, этот представитель физического труда.

Толен уже завоевал себе имя на публичных собраниях. Он является как бы духовным вождем рабочего класса.

У него узкое лицо, – оно кажется еще длиннее и тоньше благодаря длинной бороде и гладко выбритым щекам, – живой взгляд, выразительный рот, красивый лоб.

Он немножко шепелявит, как и Верморель. Я заметил, что люди, отличающиеся косноязычием Демосфена, невероятно честолюбивы. Но за их детским сюсюканьем скрывается железная энергия людей дела.

Благородная внешность под простым рабочим костюмом.

Я уже видел такую же осанку у одного известного проповедника июньской Варфоломеевской ночи, – у белокурого де Фаллу, который с благодушным жестом и медом на устах спровоцировал страшную бойню.

Может быть, носы их и не одной формы, но в своем представлении я сближаю силуэты этих людей, ибо они кажутся мне очень сходными. В них одно и то же тонкое изящество; та же мягкость речи, тот же ясный взгляд... у этого дворянина и у этого простолюдина.

У него слегка раскачивающаяся походка плебея, но, может быть, это даже умышленно. Если б он захотел, она стала бы плавной, как у дворянина. Сдержанный смех, пронизательный взгляд, заостренный профиль и борода, которую он постоянно покручивает... Мне кажется, что он только о том и думает, как бы выбраться из простой среды и мрака неизвестности. Этот бывший чеканщик, давно забросивший свои орудия производства, терпеливо чеканит орудие своего честолюбия.

– Собираются даже открыть подписку, чтобы дать наточить его инструменты, – так они заржавели! – заметил один шутник из мастерской.

Но если он боится работы, от которой грубеют руки, то не боится одиноких занятий, долгих вечеров наедине с отцами экономической церкви и с отцами социальной революции. Он купил на набережной труды Адама Смита[69] и Жана-Батиста Сэя[70], проданные букинисту каким-нибудь разорившимся буржуа или опустившимся неудачником. Теперь эти книги

вместе с четырьмя-пятью томами Прудона лежат на столе идущего в гору ремесленника.

У него есть пробный камень для всяких ценностей – денежных и идейных, он станет ученым, да он уже и теперь ученый. Он – старший мастер в цехе, где фабрикуется рабочая революция.

Он зарабатывает себе на жизнь, служа приказчиком у торговца скобяными товарами; тот очень гордится, что у него работает такой ученый малый.

У этого эмансипированного плебея есть уже приверженцы.

В этом мирке отвлеченных идей есть один представитель физического труда – Перрашон[71], неустойчивый труженик, не расставшийся со своим верстаком. Он читит, как бога, того, кто стал обладателем книг и пожирает всю эту премудрость. И он подражает ему, копирует его: так же подстригает бороду и волосы, так же застегивает пальто, так же носит шляпу, заламывая ее на ухо или нахлобучивая на лоб.

Как мне кажется, этот Созий[72] является продуктом хитрости моего Фаллу из предместья. Тесемками своего рабочего фартука Перрашон связывает властителя своих дум с народом; иначе тот, пожалуй, с недоверием поглядывал бы на его куртку, готовую того и гляди обратиться в сюртук.

Только бы он не перерезал в одно прекрасное утро эту тесьму и не бросил бы блузников, как бросил блузу.

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 30 апреля 2026 15:00:10

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 30 апреля 2026 15:01:28